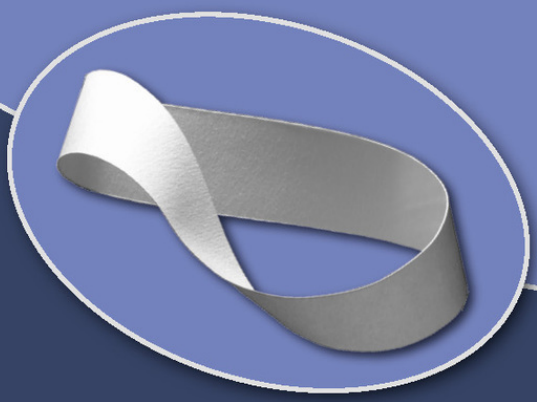
ЮРИСТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ПРАВО, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО



Василий Алексеевич Маклаков

Из воспоминаний

Вступительное слово
П.В. Крашенинникова

СТАТУТ

Юристы, изменившие право, государство и общество

Василий Маклаков

Из воспоминаний

«Статут»
2016

УДК 93
ББК 63

Маклаков В. А.

Из воспоминаний / В. А. Маклаков — «Статут»,
2016 — (Юристы, изменившие право, государство и общество)

ISBN 978-5-8354-1246-4

Вниманию читателя предлагаются воспоминания Василия Алексеевича Маклакова (1869–1957) – блестящего русского юриста, глубокого мыслителя, яркого политика, незаурядного литературоведа и писателя, одного из лидеров партии кадетов, депутата II, III и IV Государственной думы. В книге воспоминаний, изданной впервые в 1954 г., еще при жизни ее автора, Маклаков, рассуждая о причинах событий в России, свидетелем и участником которых ему довелось стать, затрагивает такие не потерявшие и сегодня актуальность вопросы, как существо демократии, функции демократического государства, отношение государства и человека, согласование в обществе интересов большинства и меньшинства, и многие другие. Для юристов, философов, историков, лиц, участвующих в государственной и общественной деятельности, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется историей государства и права.

УДК 93
ББК 63

ISBN 978-5-8354-1246-4

© Маклаков В. А., 2016
© Статут, 2016

Содержание

Василий Алексеевич Маклаков 6
Предисловие 13
Глава 1 15
Глава 2 25
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Василий Алексеевич Маклаков
Из воспоминаний

Маклаков В.А., 2016
© Крашенинников П.В., вступ. слово, составление, 2016
© Крашенинников П.В., Крашенинникова М.П., художественное оформление, 2016
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2016

* * *

Василий Алексеевич Маклаков

Эту грусть, пришедшую из прежде,
Как наследство мы должны хранить,
Потому что места нет надежде,
Так как жребий нам не изменить.
Вадим Шершеневич

За свою не такую уже короткую законотворческую деятельность мне довелось работать с первой (пятой), второй (шестой) Государственной Думой в качестве представителя исполнительной власти. А затем уже в качестве депутата и председателя комитета в третьей (седьмой), четвертой (восьмой), пятой (девятой), шестой (десятой) Государственной Думе. На себе испытал, насколько разными были составы, программные установки, подходы к законотворческой деятельности, да и сама атмосфера этих шести созывов.

Может быть, поэтому у меня появился интерес к истории четырех созывов Государственной Думы 1906–1917 гг., которые также заметно отличались по своему политическому и профессиональному составу. Конечно, прежде всего мне была интересна деятельность депутатов-юристов.

Императорским Манифестом от 6 августа 1905 г. была учреждена Государственная дума, которая согласно Манифесту от 17 октября 1905 г. стала органом законодательным. Выборы в I Государственную думу проходили с 26 марта по 20 апреля 1906 г. в соответствии с избирательным законом от 11 декабря 1905 г. Они были непрямыми, выборщики избирались отдельно по четырем куриям – землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Причем для первых двух курий выборы были двухступенчатыми, для рабочей – трехступенчатой, а для крестьянской – четырехступенчатыми. По рабочей курии к выборам допускались лишь мужчины, занятые на предприятиях, имевших не менее 50 рабочих.

Это и другие ограничения лишили избирательного права около 2 млн мужчин-рабочих. Выборы были не всеобщие (исключались женщины, молодежь до 25 лет, военнослужащие действительной службы, ряд национальных меньшинств), не равные (один выборщик на 2 тыс. населения в землевладельческой курии, на 4 тыс. – в городской, на 30 тыс. – в крестьянской, на 90 тыс. – в рабочей).

I Дума, в которой доминировали кадеты, проработала 72 дня, II Дума, в которой численный перевес имели социал-демократы, эсеры и трудовики, – одну сессию, с 20 февраля по 2 июня 1907 г., т. е. всего 103 дня.

Только Дума третьего и четвертого созывов, по составу весьма реакционных, отработала свой срок. Она избиралась по новому закону («Положение о выборах в Государственную Думу») от 3 июня 1907 г. Закон радикально перераспределил число выборщиков в пользу помещиков и крупной буржуазии (они получили ⅔ общего числа выборщиков, рабочим же и крестьянам было оставлено около ¼ выборщиков). Право рабочих и крестьянских выборщиков самим избирать положенное им число депутатов из своей среды передавалось губернскому избирательному собранию в целом, где в большинстве случаев преобладали помещики и буржуазия. Городская курия разделялась на две: 1-ю составляла крупная буржуазия, 2-ю – мелкая буржуазия и городская интеллигенция. Представительство народов национальных окраин резко сокращалось, народы Средней Азии, Якутии и некоторых других национальных районов полностью отстранялись от выборов. Выборы в III Думу проходили осенью 1907 г., а в IV – в ноябре 1912 г.

Состав Думы менялся каждый раз кардинально. Внешняя по отношению к Государственной думе обстановка менялась со скоростью звука в прямом и переносном смысле. При этом

были депутаты, работавшие в одной Государственной думе не одного созыва, прежде всего благодаря своим профессиональным качествам, к которым в первую очередь относятся ораторское искусство и понимание, как тогда говорили, законоведения.

Именно таким был Василий Алексеевич Маклаков, депутат II, III и IV Думы. Он заметно выделяется в плеяде юристов, руководствовавшихся в своей практической деятельности идеей создания правового государства в Российской империи накануне революции 1917 г. В.А. Маклаков прожил значительно дольше таких заметных «юристов-революционеров», как С.А. Муромцев, В.Д. Набоков и Г.Ф. Шершеневич. В течение 40 лет с момента катастрофы, постигшей Россию в 1917 г., он мучительно размышлял о ее причинах, пытался понять, в чем же заключались непоправимые ошибки, допущенные юристами и политиками в бурные годы начала XX в.

Родился Василий Алексеевич Маклаков 10 мая 1869 г. в Москве, в семье потомственного дворянина Московской губернии, преуспевающего врача-окулиста, впоследствии профессора медицинского факультета и главного врача глазной клиники Московского университета Алексея Николаевича Маклакова (1838–1905). Его мать Елизавета Васильевна (умерла в 1881 г.), в девичестве Чередеева, также происходила из дворян. Всего в их семье было пятеро детей.

В.А. Маклаков рано потерял мать и с шестнадцатилетнего возраста воспитывался мачехой Лидией Филипповной, известной писательницей, выпускавшей свои произведения под псевдонимом Л. Нелидова. Василий учился в 5-й Московской гимназии, которую окончил в 1887 г. с серебряной медалью. В том же году он поступил в Московский университет на физико-математический факультет, откуда в 1890 г. был отчислен за политическую неблагонадежность.

Впоследствии Маклаков решил заняться гуманитарными науками, был восстановлен в Университете на историко-филологическом факультете. По окончании в 1894 г. Университета ему было предложено остаться при кафедре истории для подготовки к профессорскому званию, но этому воспротивился Н.П. Боголепов – бывший ректор Университета (1891–1893), с 1895 г. попечитель Московского учебного округа. Через некоторое время Маклаков самостоятельно освоил курс юридического факультета и в 1896 г. сдал экстерном государственный экзамен, получив диплом и степень кандидата права (не путать с современным кандидатом юридических наук).

Сначала В.А. Маклаков, как в то время было положено, в течение пяти лет служил помощником присяжного поверенного и на этом посту работал со знаменитыми адвокатами, сначала с А.Р. Ледницким, а затем с Ф.Н. Плевако. Удачные выступления на нескольких процессах быстро принесли Маклакову известность и самостоятельную практику. Он становится одним из самых популярных адвокатов в Москве, а затем и в России.

В.А. Маклаков состоял в московском кружке молодых адвокатов, который организовывал бесплатные юридические консультации для неимущего населения и бесплатные защиты на политических процессах. К примеру, Маклаков защищал обвиняемых по делам о забастовке на фабрике «Гусь» (дело было прекращено, а обвиняемые освобождены), о беспорядках на фабрике Викулы Морозова в Москве (обвинение было переквалифицировано на более мягкое). В 1904 г. Маклаков представлял интересы дворянского политического деятеля умеренно-либерального направления М.А. Стаховича, обвинившего в клевете редактора официозного журнала «Гражданин» князя В.П.Мещерского.

Среди других адвокатов В.А. Маклаков особенно выделялся тем, что никогда не отступал от сугубо правовых подходов в угоду «политической целесообразности» или меркантильным интересам, а также не строил защиту своих клиентов на «сваливании вины» на других подсудимых. «У защитника, если он и не хотел превращать суд в политический митинг, всегда оставались ресурсы. Не говорю уже о том, что он должен был защищать процессуальные права

подзащитного, на самом суде, которых он сам мог часто не знать и которые без вмешательства защитника могли нарушаться. Хотя прокурор на суде и считается не только стороной, то есть обвинителем, но и защитником законности, даже в интересах самого подсудимого, рассчитывать на его объективность было рискованно. Кроме того, у защитника всегда оставалась свобода опровергать улики, то есть отрицать самый факт преступления. В этом добросовестный судья ему не может мешать, а иногда в этом вся суть»[1], – писал Маклаков в своих воспоминаниях.

Наиболее громкие процессы, в которых ему пришлось выступать, – дело о Выборгском воззвании (1907) и «дело Бейлиса» (1913).

В.А. Малаков, будучи членом ЦК партии кадетов, резко выступал против подписания Выборгского воззвания от 9 (22 июля) 1906 г. Однако, когда дело дошло до суда над всеми подписантами, партия, в том числе и сами подсудимые, настояла на его участии в процессе в качестве адвоката.

В своей речи на суде В.А. Маклаков блестяще продемонстрировал строго юридический подход к делу: «Для того, чтобы защищать этих людей, не нужно сочувствовать им; к воззванию можно относиться отрицательно, считать его не только ошибкой, но преступлением; но когда к нему подходят с таким обвинением, которое предъявил прокурор, самый строгий критик воззвания должен сказать прокурору: на этот путь беззакония мы с вами не станем»[2]. И далее: «Та постановка обвинения, которую дал прокурор, не есть торжество правосудия; я скажу про нее, что она общественное бедствие»[3]. Речь имела большой успех не только среди публики и подсудимых, но даже и у членов судебной палаты. Ее старший председатель Санкт-Петербургской судебной палаты Н.С. Крашенинников впоследствии говорил, что эта речь его потрясла[4]. Однако окончательное решение было все-таки обвинительным, и участников Воззвания приговорили к трем месяцам тюрьмы.

Подлинная, можно сказать, всемирная слава пришла к Маклакову после, наверное, самого громкого процесса начала XX в. в России – «дела Бейлиса» в Киевском окружном суде. Обвинение еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского было инициировано активистами черносотенных организаций и поддержано целым рядом крайне правых политиков и чиновников, включая министра юстиции И.Г. Щегловитова. Процесс, состоявшийся в Киеве 23 сентября – 28 октября 1913 г., сопровождался активной антисемитской кампанией, но одновременно вызвал широкий общественный протест не только в России, но и в во всем мире. Это был в полном смысле бой глубоко закоренелых реакционных сил Империи против всего прогрессивного, что было в России.

Именно речь В.А. Маклакова склонила весьма тенденциозно подобранное жюри присяжных к вынесению оправдательного приговора. Она была издана отдельной брошюрой[5]. Сам же Маклаков относился к этой своей мировой славе весьма сдержанно: «Интерес этого процесса был только в том, почему и как судебное ведомство защищало настоящих убийц, которых все знали, и стремилось к осуждению невинного Бейлиса? Это была картина падения судебных нравов, как последствие подчинения суда политике. В деле Бейлиса оно дошло до превращения суда в орудие партийного антисемитизма. Ради этого прокурор отстаивал заведомо виновных

[1] С. 217–218 наст. изд.

[2] С. 214 наст. изд.

[3] С. 219 наст. изд.

[4] См. с. 213 наст. изд.

[5] *Маклаков В.А.* Убийство А. Ющинского: Речь в Киевском окружном суде 25 октября 1913 г. (по стеногр. отчету). СПб.: Тип. И.И. Зубкова, 1914.

и потворствовал маневрам воровской шайки Чебиряковой – и все это с ведома и одобрения министра юстиции. Только эта сторона процесса и была интересна»[6].

Свой взгляд на «дело Бейлиса» Маклаков высказал в статьях, опубликованных в «Русских ведомостях» и в «Русской мысли». В них он указывал на то, что приговор присяжных спас доброе имя суда. Обе статьи пришлись не по вкусу Министерству юстиции, и Маклаков вместе с редакторами этих журналов был предан суду за «распространение в печати заведомо ложных и позорящих сведений о действиях правительственных лиц»[7]. Однако судебное сообщество благополучно «замотало» это дело вплоть до 1917 г., когда оно потеряло свою актуальность и было закрыто.

Кроме занятия адвокатской деятельностью, В.А. Маклаков играл заметную роль в общественно-политической жизни страны. В 1904 г. он стал секретарем кружка либеральных земцев «Беседа», затем – одним из основателей партии кадетов (1905 г.), членом ЦК, лидером правого крыла партии. По списку партии кадетов Маклаков избирался депутатом II, III и IV Государственной думы. Речи Маклакова в Думе о военно-полевых судах, по делу Азефа и другие принесли ему славу одного из лучших русских ораторов. «В огромном зале Таврического дворца он говорил громче, но и там никогда не кричал – великая ему за это благодарность! Когда человек, дойдя до очередного Александра Македонского, вдруг с трибуны начинает без причины орать диким голосом, это бывает невыносимо… И еще спасибо Василию Алексеевичу за то, что в его речах почти нет «образов». Образы адвокатов и политических деятелей – вещь нелегкая. …Римляне находили, что о малых вещах надо говорить просто и интересно, а о великих – просто и благородно. Именно так говорил Маклаков»[8].

В.А. Маклаков председательствовал в комиссии по Наказу (регламенту) Государственной думы во II и III Думе. Надеясь предотвратить роспуск II Думы, он вместе с П.Б. Струве и С.Н. Булгаковым встречался с П.А. Столыпиным.

Роспуск II Думы 3 июня 1907 г. В.А. Маклаков считал «переворотом» и «проклятой датой». О н осуждал этот акт не только как незаконный, но и к а к п о л и т и ч е с к и в р е д н ы й. По его мнению, роспуск II Думы завершил период «первой революции». Созыв III Думы стал началом эпохи «конституционной монархии». «Левая общественность глумилась над третьеиюньскою Думой, над ее «угодливостью» и «раболепством». Поводов для законного негодования эта Дума давала не раз. Но любопытно, что одновременно с нею начался подъем России во всех отношениях. «Конституционный строй» показал этим свою пригодность для России, несмотря на ее политическую неопытность и на проистекшую из нее массу ошибок»[9].

В III и IV Думе влияние кадетов практически сошло на нет. В.А. Маклаков оценивал этот факт следующим образом: «Партия, которая могла быть опаснейшим врагом реакции и революции, только им и оказалась полезна: тому, в чем было ее предназначение, т. е. мирному превращению самодержавия в конституционную монархию, она в решительный момент помешала. Исторического призвания своего исполнить не сумела»[10].

В годы Первой мировой войны В.А. Маклаков, как и большинство членов Думы, занимал патриотические позиции. Однако бездарная политика правительства и неудачный ход военной кампании его разочаровали. Отсюда ряд его резких выступлений в Думе и в печати. Большой общественный резонанс вызвала статья Маклакова «Трагическое положение»[11]. В аллегори-

---

[6] С. 203 наст. изд.

[7] Там же.

[8] *Адамович Г.* Василий Алексеевич Маклаков. Политик, юрист, человек. Париж, 1959. С. 4–5.

[9] *Маклаков В.* Вторая Государственная дума: Воспоминания современника, 20 февраля – 2 июня 1907 г. М.: Центрполиграф, 2006. С. 5.

[10] *Маклаков В.* Первая Государственная дума: Воспоминания современника, 27 апреля – 8июля 1906 г. М.: Центрполиграф, 2006. С. 19.

[11] Русские ведомости. 1915. 27 сентября.

ческой форме он изобразил Россию в виде автомобиля, который несется по горной дороге, управляемый «безумным» шофером (Николай II), и ставит «пассажиров» (оппозицию) перед сложным вопросом: возможно ли перехватить руль и не свалиться при этом в пропасть?

Видимо, это разочарование и предчувствие близкой катастрофы привели его в число участников покушения на Распутина, которого многие считали злым гением царской семьи. История этого покушения до сих пор вызывает ожесточенные споры исследователей[12]. Единой точки зрения на это событие нет, подлинность некоторых документов вызывает сомнение. Очевидно только то, что Маклаков был хорошо знаком с организатором этого покушения князем Феликсом Юсуповым. Якобы он передал ему яд, которым пытались отравить Распутина, и дубинку, которой Юсупов добивал полумертвую жертву. По одной из версий, позже Маклаков утверждал, что под видом цианистого калия на самом деле дал простой порошок аспирина. Однако не исключено, что некоторые из подобных версий несостоятельны и связаны с тем, что сама императрица считала, что убийство Распутина было организовано масонами. А Василий Алексеевич был масоном, причем весьма высоко стоявшим в их иерархии, и состоял в организации масонов до конца своей жизни.

После Февральской революции В.А. Маклаков был назначен комиссаром Временного комитета Государственной думы в Министерство юстиции. В этой должности Маклаков добился следующего распоряжения: немедленно разрешить свободный проезд членов социал-демократической фракции IV Государственной думы в Петроград; зачислить всех желающих евреев-юристов в сословие присяжной адвокатуры; освободить всех политических заключенных, которые были арестованы в порядке предварительного следствия. Всем прокурорам судебных палат были направлены распоряжения о недопущении возбуждения новых политических дел.

Маклаков участвовал в составлении Манифеста великого князя Михаила Александровича об отказе от престола. Был командирован в Царскосельский гарнизон для решения вопроса об удалении нежелательных для солдат офицеров. Участвовал в Особом совещании по выработке проекта Положения о выборах в Учредительное собрание. На 8-м съезде партии конституционных демократов Маклаков был вновь избран в состав ЦК. Участвовал в Государственном совещании в Москве. Был избран членом Временного совета Российской республики (Предпарламента)[13].

В июле 1917 г. В.А. Маклаков был назначен послом России во Франции и прибыл в Париж на другой день после Октябрьского переворота в Петрограде. Октябрьский переворот он, конечно, не принял и до конца своей жизни активно участвовал в деятельности различных эмигрантских организаций.

В конце 1919 г. В.А. Маклаков вошел в состав Русского политического совещания в Париже, был товарищем (заместителем) председателя Совещания послов. В сентябре 1920 г. Маклаков посетил Крым, где встречался с генералом П.Н. Врангелем. Вместе с П.Б. Струве он сумел добиться официального признания Францией правительства Врангеля. После признания Францией СССР (1924) Маклаков возглавил Русский эмигрантский комитет, исполнявший обязанности консульства по делам российских беженцев, разрабатывал правовые нормы существования российской эмиграции. Он участвовал в работе женевского Международного комитета частных организаций для выработки общего беженского статуса при Лиге Наций[14]. В

---

[12] См., например: *Юсупов Ф.* Конец Распутина. Париж, 1927; sergey-v-fomin.livejornal. com; Казнаков С.Н. Убийство Григория Распутина // РГИА. Ф. 948. Оп. 1. Д. 180. Л. 10–11 об. Автограф; Записано сестрами А., подругами Марианны Дерфельден, ныне гр. Зарнекау, играющей в декабре 1920 г. в Малом театре Нериссу в Шейлоке, под именем «Павловой» // РГИА. Ф. 948. Оп. 1. Д. 180. Л. 1–9 об. Автограф.

[13] См.: Государственная дума Российской империи, 1906–1917: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2008. С. 342.

[14] См.: Государственная дума Российской империи, 1906–1917: Энциклопедия. С. 343.

этой должности своего рода омбудсмена российских эмигрантов Василий Алексеевич пробыл до конца своей жизни.

Однако В.А. Маклаков занимался не только политикой. В качестве председателя Комитета по устройству Дня русской культуры, который с 1926 г. ежегодно проводился в течение ряда лет во Франции, он выступал с речами о А.С. Пушкине, Л.Н. Толстом, других выдающихся деятелях русской культуры.

С Львом Николаевичем Толстым Маклаков был хорошо знаком и не раз по его просьбе выступал в суде. В своих речах «Толстой и большевизм» (Прага, 1921)[15] «Лев Толстой (учение и жизнь)» (Париж, 1928) и «Толстой – как мировое явление» (Париж, 1928)[16] он подробно рассматривает учение Толстого, а также исследует связь этого учения с большевизмом.

До конца жизни Маклаков состоял членом Русского комитета содействия Архиву русской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете (США).

Во время Второй мировой войны Василий Алексеевич занимал активную антигитлеровскую позицию, в отличие, например, от одного из вождей русской эмиграции во Франции того времени Жеребкова, уверовавшего, что Германия борется только против большевиков, а не против России. С людьми, которые сотрудничали с нацистами, он шел на решительный публичный разрыв, отказывался подавать им руку. Это было далеко не безопасно. В конце концов Маклаков был арестован и просидел пять месяцев в тюрьме. «Никаких определенных обвинений предъявлено ему не было, иначе он из тюрьмы не вышел бы. Но немцы были осведомлены о его прошлом, знали, что он либерал, демократ, масон, и не без основания причисляли его к своим противникам… Выйдя из тюрьмы, он сказал: «Мне жаль, что я никогда не сидел в тюрьме прежде. Если бы я знал, что такое одиночное заключение, я бы иначе строил свои защитительные речи»»[17].

Во главе группы русских эмигрантов 12 февраля 1945 г. Маклаков посетил посольство СССР в Париже, передал через посла поздравления советскому правительству и провозгласил тост за победы Красной Армии. Свидание состоялось по приглашению советского посла Богомолова. Маклакову и его друзьям удалось высказать несколько мыслей о сущности террористического режима в СССР. Позднее он признал этот визит ошибкой.

До конца жизни В.А. Маклаков занимал крайне антисоветские позиции. Кроме, так сказать, объективных причин, связанных с произволом и беззаконием в СССР, были и субъективные. Брат Василия Алексеевича Николай был ярым монархистом, занимал должность министра внутренних дел Российской империи с 1912 по 1915 г. и в августе 1918 г. был публично расстрелян большевиками. И хотя какой-то особой любви или даже дружбы между братьями не было, Василий Алексеевич говорил, что никогда не простит гибели своего брата.

Весьма интересны и, на мой взгляд, злободневны выводы В.А. Маклакова в статье «Еретические мысли»[18]. Он выразил сомнения в двух основных принципах современной демократии – в верховенстве народного представительства и в диктатуре большинства. Отказ от учета интересов меньшинства, по его мнению, никогда не сделает государство справедливым, и в таком случае оно всегда будет «созданием дьявола». «Справедливость, – писал Маклаков, – не непременно там, где желает ее видеть большинство». И еще: «Если наша планета не погибнет раньше от космических причин, т о м и р н о е о б щ е ж и т и е л ю д е й н а н е й м о ж е т б ы т ь п о с т р о е н о т о л ь к о на началах равного для всех, то есть справедливого, права. Не на обманчивой победе сильнейше г о, н е н а с а м о о т р е ч е н и и и л и п р и н е с е н и и с е б я в ж е р т в у д р у г и м, а на справедливости».

---

[15] *Маклаков В.А.* Толстой и большевизм. Париж: Русская земля, 1921.

[16] *Маклаков В.А.* О Льве Толстом: Две речи. Париж: Современные записки, 1929.

[17] *Адамович Г.* Василий Алексеевич Маклаков. Политик, юрист, человек. С. 14.

[18] Новый журнал (Нью-Йорк). 1948. № 19–20.

Маклакова трудно назвать узким профессионалом. Он был блестящим юристом, глубоким мыслителем, ярким политиком, незаурядным литературоведом и писателем. Конечно, «профессиональный» юрист, философ или литературовед могли бы назвать его дилетантом каждый в своей сфере деятельности. Однако очень часто именно такие дилетанты, или «маргиналы», и способны осуществить прорыв и защищать его именно там, где простой «набор» узких профессионалов был бы бессилен.

Василий Алексеевич Маклаков скончался в возрасте 88 лет 15 июля 1957 г. в Бадене, где находился на лечении. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа.

П.В. Крашенинников

Предисловие

Настоящие «Воспоминания»[19] требуют некоторого объяснения, если не оправдания. Под таким общим подзаголовком уже вышли три мои книги, доведшие рассказ о событиях в России до роспуска 2-й Государственной думы и переворота 3 июня 1907 года. Отражая тогдашнее настроение, я в этом перевороте видел только его вредные стороны, которых и сейчас не могу отрицать. Дата 3 июня сделалась для нас таким же нарицательным и порицательным именем, каким 2 декабря было для Франции. Но после того, что мы с тех пор пережили, такое суждение было бы односторонне. Если этот переворот насильственно прекратил острый период ожесточенной борьбы исторической власти с представителями передовой общественности (Освободительное движение, 1-я Дума, 2-я Дума), то он в то же время начал короткий период «конституционной монархии», то есть совместной работы власти с представителями общества в рамках октроированной конституции. Эта перемена позиций немедленно стала приносить свои полезные результаты. Не произойди в 1914 году европейской войны, Россия могла бы продолжать постепенно выздоравливать, без потрясения. И потому переворот 3 июня, при всей своей незаконности и связанными с этим последствиями, может быть, помог нам тогда избежать двух худших исходов: или такой полной победы самодержавия и его крайних сторонников, которая могла привести к отмене «конституционного строя» и к возвращению прежнего самодержавия, что заставило бы начинать борьбу с ним сначала, или – что могло быть еще хуже – к тому, что то полное крушение власти, которое произошло в 1917 году, произошло бы на десять лет раньше в обстановке, нисколько не лучшей для мирного оздоровления.

Помню, как в 1917 году война многими считалась для такого оздоровления положительным фактором. Вместо этих двух крайних и противоположных исходов мы получили передышку, которую можно было на благо России использовать. Когда в 1942 году я собирался свои «Воспоминания» продолжать, я на эпохе 3-й и 4-й Государственных дум хотел проследить оба эти процесса, то есть и симптомы выздоровления России, и то, что его задерживало или от него отклоняло. Я не смог этого намерения выполнить, так как мне не удалось тогда в Париже найти всех нужных для этого материалов, и даже стенографических отчетов последних двух Государственных дум; а я не хотел писать только по памяти.

И если я теперь опять написал воспоминания, то характер их поневоле будет другой. Я не продолжаю прежний рассказ, а начинаю его с еще более раннего времени, переменив и его содержание. Раньше я рассказывал о том, что мне приходилось со стороны наблюдать, благо мое поколение соединило в себе два противоположных свойства: наблюдали мы жизнь, как ее современники и очевидцы событий, а теперь вспоминаем, как о делах давно уже минувших. Громадность происшедших в России с тех пор перемен превратила «недавнее прошлое» в «историю». Это нам помогает беспристрастнее пересматривать прежние наши оценки. В прежних «Воспоминаниях» я, как общее правило, избегал говорить о себе; это было для рассказа не нужно, так как моя личная роль в тогдашних событиях была небольшая. Теперь же моя жизнь становится осью рассказа. Но говорить я буду уже не столько о том, что я делал в свои ранние годы, сколько о том, как тогдашняя жизнь воспитывала и формировала жившее тогда поколение, в том числе и меня. Конечно, одни и те же условия жизни могли по-разному на нас влиять. Но это будут только различные результаты одного и того же процесса, то есть воспитания людей впечатлениями окружающей жизни. Этот процесс, поскольку он на мне отражался, и будет главным содержанием этой книги. Все мы при полной противоположности между собою были одинаково наследниками нашего прошлого, как и Октябрь 1917 года неожиданно ока-

[19] *Маклаков В.А.* Из воспоминаний. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954.

зался детищем самодержавия. Этой темы я, конечно, не только не могу исчерпать, но ее так и не ставлю. Это только та точка зрения, с которой я вспоминаю о прошлом и которая определяет выбор материала, о котором я буду говорить в этой книге.

Глава 1

То поколение, которое сейчас вымирает, а начинало жить активной жизнью во время Освободительного Движения, своими юными годами близко подходило к эпохе Великих Реформ. И если нам вспоминать свою жизнь и то, что она сделала с нами, надо начинать с этого времени, то есть с наших отцов и дедов. Мы многое от них унаследовали.

Дед моей матери был важный (штатский) генерал Павел Степанов; его я никогда не видал и только смутно помню висевший у нас на стене его фамильный портрет. Его жена была рожденная Татаринова; по семейным преданиям, она была в каком-то родстве с известной Татариновой эпохи Александра I. У П. Степанова было три дочери: Александра, Марья и Раиса. Александра, моя родная бабушка, вышла замуж за чиновника дипломатического ведомства в Бухаре Василия Васильевича Чередеева. Мать была их единственной дочерью. Эту свою родную бабушку, Александру Павловну, я помню гораздо меньше, чем ее сестер: она умерла раньше их. В моей памяти осталось только болезненное желтое лицо, которое у нее было незадолго до смерти, и ее похороны. Ее сестер, Раису и Марью, помню гораздо лучше. Раиса вышла замуж за офицера Егора Александровича Михайлова, который служил в Хиве при Кауфмане; в мое время он был отставным полковником с совершенно лысой головой, членом Английского клуба, где проводил каждый вечер за картами; у него и Раисы было очень много детей, чуть ли не восемнадцать человек, и, хотя все были от одних и тех же родителей, часть их по отчеству звалась Дмитриевичами, а часть Егоровичами. Нам что-то по этому поводу объясняли, но очень невразумительное. Все их дети где-то служили. Мать их, Раиса, была столь же богата, как и ее сестры, но ее состояние не удержалось, и дети должны были сами зарабатывать на жизнь.

Третья сестра, Марья, осталась незамужней; была пережитком старой эпохи. Жила в собственном доме в Москве, около Каретного Ряда. При доме была очень большая незастроенная площадь земли: двор, сад и огород. В умелых руках имущество это могло бы представить большую ценность. Но владелица из него дохода не только не получала, но и не старалась извлечь. Этого мало. Большой кусок своей земли она подарила соседней церкви, со словесным условием его не застраивать. Условие было нарушено: церковь сначала построила там большой доходный дом, с окнами прямо в окна дома дарительницы, потом закрыла проезд через подаренную землю, и дарительнице пришлось к себе проезжать обходным путем через другой переулок, что владение обесценивало. Для самой М.П. Степановой это было неважно. Она никуда не выезжала; жила в бельэтаже, верхний этаж сдавала знакомым, а нижний этаж, подвал, был складом фамильного добра, ненужных вещей, которые некуда было девать. При ее доме были сараи и конюшни; по привычке она держала кучера и лошадей, которые ей вовсе не были нужны. Я был ее крестником и до самой смерти ее должен был по субботам ходить к ней обедать. Она вставала с постели в 5 часов пополудни и только тогда делала выход в столовую. Была окружена какими-то старушками, которые по ночам составляли ей компанию (она ложилась под утро), играли с ней в карты или читали ей религиозные книги. Два раза в год, в день ее рождения и на именины, у нее были приемы. Собиралась родня, племянники и внучата, за которыми она посылала свой экипаж; бывало несколько старых знакомых (из них помню профессора Ф.И. Буслаева). Садились за длинный стол, пили шампанское за здоровье ее; за столом служили наемные официанты; вообще все было как у людей. Только в эти дни своеобразный склад жизни ее нарушался.

Дворянско-помещичья среда, из которой я вышел, конечно, не была однородной, хотя вся принадлежала к «благородному сословию», по выражению статьи IX тома Свода законов, или к «правящему классу», по позднейшей терминологии. У нее были и связанные с происхождением привилегии по службе и по образованию. Главной привилегией было право иметь «населенные земли», то есть право на крестьян и на даровой их труд в пользу помещика. Это

право часто было источником и личного богатства этого класса, и опасного для него положения среди населения. Но прадед П. Степанов и мой дед В. Чередеев были не только помещиками, но служилыми людьми и получали за эту службу содержание. Имения были для них не источником богатства, а его признаком и последствием. Сами имения были не латифундиями по размерам и доходности, а небольшими кусками земли в разных уездах Московской губернии, которые раньше носили характерное название «подмосковных». Там были усадьбы, велось и хозяйство, что при даровом крестьянском труде было легко.

Потому отмена в 1861 году дарового труда для таких помещиков не была катастрофой, как для тех, кто своим имением жил и кому пришлось строить хозяйство на совсем других основаниях: сдавать латифундии в аренду крестьянам же или отдавать имения в более умелые для хозяйничанья руки. Для помещиков, которые жили не имением, а службой или интеллигентным трудом, вопрос так не ставился. Многие из них и после 1861 года имения свои сохранили, продолжали там жить, хотя бы часть года; предпочитали не уничтожать хозяйства, держать лошадей, скот, домашнюю птицу, не для барышей, а для домашнего употребления. Вести такое хозяйство было несложно. Надо было иметь небольшое число постоянных работников, которых можно было вербовать из бывших дворовых. Их было недостаточно на время страды, но для этого не нужно было выдумывать нового. Раньше эта нужда удовлетворялась крестьянской «барщиной», теперь ее нужно было оплачивать. В экстренных случаях она принимала освященную практикой форму «помочи». Все это происходило к взаимной выгоде и даже к удовольствию. Потому, когда из крепостных отношений исчезло то, что было в них ненавистно, то есть власть помещика над людьми, как над собственностью, и обязательный даровой труд на других, то там, где помещик не стремился крестьян эксплуатировать и давать чувствовать им свою прежнюю от него зависимость, крестьяне не обижались на то, что помещик для них оставался все-таки «барином», не претендовали на полное равенство с ним, не сердились за привычное «ты». Этого мало. Между помещиком и крестьянами часто сохранялись тогда и пережитки прежних их отношений, как людей, которые могут быть друг другу полезны и даже нужны. Крестьяне были необходимы помещику, но и сами они искали и находили у помещика в минуту нужды и кредит, и защиту против обидчиков, и медицинскую помощь, лекарства и пр. Отношения крестьян и подобных помещиков часто оставались мирными и дружелюбными; это исчезало с общим осложнением жизни, переходило в антагонизм и вражду. В детском возрасте мне этого видеть не приходилось. На это мы насмотрелись позднее.

Мать была не только из зажиточной среды, но и культурной. В этой среде это было не редкость. Единственная дочь богатых родителей, она получила только домашнее воспитание. До конца жизни сохранила предубеждение против школы, боялась в ней дурных знакомств и влияний; в этом она уступила отцу только для сыновей, но оставила завет не отдавать никуда дочерей. Дома ее учили всему, что полагалось знать воспитанной барышне этого круга; она свободно говорила на трех языках (помимо русского), была ученицей знаменитого пианиста Фильда. В ее книжном шкафу были все русские и много иностранных классиков, которых и нам постепенно давали читать. Но на этом уровне она и остановилась.

Иначе быть не могло. Она умерла тридцати трех лет, имея восемь человек детей, из которых семеро остались живы. С ранней молодости она вся ушла в заботу о них, о хозяйстве, о поддержании отношений и положения в обществе. Ей некогда было продолжать учиться. Сама жизнь должна была ее развивать; но среда, в которой она выросла, родня, которой она была окружена, и положение ее, как матери большого семейства, оберегали ее от тех общественных увлечений, которые были свойственны 60-м годам; они ее не затронули. Она осталась тем, чем была в самые юные годы. Поскольку я могу по детским воспоминаниям судить о матери, она воспиталась на одной главной основе – религиозной. Глубокая и своеобразная религиозность проникала все ее миросозерцание, не оставляя места ни сомнениям, ни рассуждениям. Однажды, уже после смерти ее, моя крестная мать, М.П. Степанова, расспрашивала

меня, аккуратно ли я хожу в церковь, соблюдаю ли посты и все предписания церкви. При этих расспросах она привела мне суждение какого-то их старшего родственника, чтобы «укрепить меня в вере». Он будто бы говорил: «Если Бога нет и все, чему религия учит, – ошибка, для верующих людей от этого худа не будет; но зато, если это правда, как за это им будет хорошо! Поэтому лучше уже верить». Такое утилитарное соображение было бы цинизмом, если бы оно не было так детски наивно. Ничего подобного не могло быть у матери. Вера в промысел Божий, который всем в наших земных делах управляет, была для нее не заповеданной и для верующих выгодной верой, а простой очевидностью. Однажды я спросил у нее: «Почему в наше время нет больше святых?» Она удивилась вопросу: «Почему ты так думаешь? Святых и сейчас очень много. Посмотри на нашу Наталью Семеновну». Это была сморщенная старушка, которая издавна жила в нашем доме на положении среднем между членом семьи и прислугой. Я не верил: «Почему она святая? Что она для этого сделала?» Мать пояснила, что ничего особенного для этого делать не нужно. Поступки, угодные Богу, для людей часто только по неразумию их незаметны.

Она приводила и другой более яркий пример – нашего духовника, отца Александра Семеновича Ильинского. Он был настоятелем церкви Успения, что в Казачьей, в Замоскворечье; позднее был сделан протопресвитером Успенского собора. Мать издавна была дружна с его женой. Однажды во время Светлой Заутрени А.С. Ильинский увидел, что в той части церкви, где обыкновенно стояла его жена с их сыном, доктором, происходит волнение и кого-то уносят. Своей жены и сына он после этого в церкви не видел. В тревоге за них отслужил он заутреню. Началась обедня.

Сын вернулся в церковь, но без матери. А.С. Ильинский понимал, что если бы его жене только сделалось дурно, сын бы ее одну не оставил. Но обедню он все же, не торопясь, дослужил до конца. Вернувшись домой, нашел свою жену мертвой. И мать говорила: «Александр Семенович, забыв о себе, служил, подчиняясь воле Бога, который дал ему силу исполнить долг свой, священника; значит, он Богу угоден». Это было так странно: в наших глазах он казался очень обыкновенным человеком. Не раз приезжал к нам в деревню, любил ловить рыбу. Помню, как он радовался, когда однажды поймал на червя громадного окуня. И вдруг он – святой человек! Но у матери в этом сомнения не было. Она во всем обыденном видела проявление руки Бога.

Другой раз я ее спрашивал: «Почему не бывает больше чудес?» Она опять недоумевала: «С чего это ты взял? Чудеса происходят на каждом шагу, только люди их не замечают и объясняют по-своему». Сама она верила им, как реальности. Нас, детей, часто возила к Спасителю, на Остоженке, где в домовой церкви была икона, считавшаяся чудотворной. По преданию, слепой мальчик на стене нарисовал углем образ Спасителя и никто не смог этого угля стереть. Бывая в этой церкви, я всегда напрасно искал следов того первоначального угля. Но мать была уверена, что здесь было настоящее чудо. Другой более близкий пример. Когда, уже приговоренный врачами, умирал от мозговой болезни наш младший брат, с ним делались судороги, и он тяжело метался. Мать сидела около него с крестом, в который были вделаны мощи, и во время припадков, чтобы их облегчить, осеняла его этим крестом. Она твердо верила, что этот жест ему помогает. А наутро, когда брат, окруженный цветами, уже лежал в своем гробике, она смотрела на него умиленно, но и с убеждением говорила сквозь слезы: «Сейчас он ангелочком летает около Бога. Ведь у него грехов еще не было».

Я допрашивал дальше: «Почему же мы, верующие люди, не можем, по словам Писания, двигать горами?» Она объясняла: «Потому что у нас вера слаба и мы хотим сделать чудо, только чтобы этим в себе укрепить эту веру». Это уже «маловерие» и «искушение» Бога; это грех. Так у нее на все был ответ из той же веры, которая была для нее «очевидностью». Она старалась и нам именно ее передать; такая вера была понятнее нашей детской душе, чем хитроумные «определения» Бога из Филаретова катехизиса, который нас заставляли зубрить в 3-м классе гимназии. Чтобы эту веру в нас поддерживать, она не только водила нас в церковь и заставляла

читать молитвы, она старалась переносить нас в насыщенную живой верой атмосферу. Так, одной из книг, которые мы с ней читали вместе, были «Катакомбы» Евгении Тур, рассказы из эпохи Диоклетиановых гонений на христиан. Жена нашего уездного предводителя А.Н. Бахметева занималась литературой и издавала книги под общим заглавием «Душеполезное чтение». Одну из таких книг, «Жития святых», мать с нами постоянно читала. В них открывался тот особенный мир, которого мы не умели разглядеть, мир, где страдали и умирали за веру. Мы не умели этого видеть, мать же о том, что и теперь происходило кругом, иначе судить не могла.

В конце 70-х годов печаталась «Анна Каренина». Мы, детьми, знали имя Толстого; мне на именины подарили «Детство. Отрочество», и мы им увлекались. И потому, когда стали говорить о новом романе Толстого, я просил дать мне его почитать. Мне объяснили, что он не для детей, а наша домашняя учительница Надежда Ивановна, старая дева с очень строгими нравами, не только с осуждением, но с ужасом говорила про какую-то взрослую барышню, что она прочла «Анну Каренину». Сестра же, которая была на два года старше меня и любила разыгрывать взрослую, когда хотела кого-нибудь осудить, говорила: «Он читает „Анну Каренину“». Это только больше подстрекнуло мое любопытство. Однажды в деревне, в комнате дедушки по отцу, Николая Васильевича, я увидал на столе эту книгу и немедленно тайком начал ее читать. Мне помешали, и я прочел только беседу Облонского с Левиным во время охоты. Но после я услыхал продолжение разговора дедушки с матерью об этой же книге. Дедушка говорил, что не согласен с ее оценкой романа. Мать, по его словам, находила, что его надо было кончить на болезни Анны после родов, заставив ее тогда «умереть». Дедушка же утверждал, что только после этого роман получил свой интерес. Мать возражала. Если Анна согрешила, то судить и карать ее мог только Бог, а не люди, людям же нужно следовать слову Христа о тех, кто может бросать в других камнями. А каковы были те люди, которые Анну травили? Я запомнил этот случайно подслушанный мной разговор более всего потому, что, несмотря на старания, не мог его соединить с теми страницами, которые успел прочитать из «Анны Карениной».

Позднее я узнавал мать в этом споре. Она порицала грех, как нарушение Божьей заповеди, но «грешников» не осуждала. В этом была не только религиозная заповедь, но и свойство характера. Я не знал в жизни более доброго человека, чем мать: она никогда не сердилась, всех всегда защищала.

Таково то воспитание, которое она старалась нам передать. Она пустила в душе какие-то ростки, которые жизнь рассеяла уже потом.

В Вербную субботу 1881 года мать, по обыкновению, повезла нас, детей, смотреть вербное гулянье на Красной площади. Она казалась совершенно здоровой. По возвращении мы стали просить, чтобы по случаю Страстной отменить уроки музыки. Она шутливо сказала: «Хорошо, я, может быть, вас и помилую». Это были последние слова, что мы от нее услыхали.

На другое утро она не вышла из спальни. Приходили доктора, осматривали, что-то прописывали, но ей лучше не становилось. В понедельник с утра она была уже без сознания. Ее перенесли из спальни в самую большую комнату нашей квартиры. Несли уже, как труп, вместе с кроватью. Вечером приехал ГА. Захарьин, которого ждали, как чудо-творца, и он определенного ничего не сказал. Ночью детей разбудили, повели с нею прощаться. Она была без памяти, вся в крови от пиявок. Отец брал ее руку и нас ею крестил. Надежды на выздоровление не оставалось. Мы со старшей сестрой решили попробовать последнее средство. Поехали молиться той чудотворной иконе Спасителя на Остоженке, куда мать нас часто возила. Я опять стал искать следов чудесного угля и их опять не нашел под массой образов и украшений. Мы вернулись домой. Матери не сделалось лучше. А потом скоро отец вышел к нам сообщить: «Дети, мамаша скончалась».

Я стал себя спрашивать: почему молитвы перед чудотворной иконой не помогли? Заключил, что у меня не было достаточно веры; если бы она была, я не стал бы еще раз искать следов настоящего угля. Но так как вера двигает горами, то при вере я смогу и мертвую воскресить.

Я пробрался ночью в комнату, где стоял ее гроб; монашенка около него читала молитвы. Не помню, вернее, не знаю, что я пытался там сделать; знаю только, что меня унесли без чувств. И я тогда решил про себя: публично, на торжественном отпевании я ее воскрешу. Если я решусь это сделать в такой обстановке, то это докажет, что я имею достаточно веры. Наступил день отпевания. Это была Страстная неделя. Гроб стоял вблизи Плащаницы. Масса народа. На отпевание приехал архиерей Амвросий, знаменитый духовный оратор, впоследствии он был архиепископом в Харькове и, говорят, стал отъявленным черносотенцем. Он был знаком с отцом еще до своего монашества и бывал в нашей семье. Я выжидал подходящий момент, чтобы свое намерение – воскресить мать – привести в исполнение. Среди моих колебаний неожиданно начал говорить епископ Амвросий. Я и теперь помню содержание его слов. Он напомнил, что, по преданию, какой-то подвижник, который делал все, чтобы быть Богу угодным, захотел узнать, что ему нужно еще для этого делать? Ему чудесным путем было указано, чтобы он поехал в такой-то город по такому-то адресу; там живет женщина, которая более всех Богу угодна. Он исполнил, что ему было сказано. К своему удивлению, нашел там не подвижницу, не отшельницу, а самую простую богобоязненную женщину, мать семейства, которая не понимала и не могла объяснить, чем она заслужила перед Богом. И вот она, эта смиренная женщина, говорил епископ Амвросий, оказалась наиболее Богу угодна. Такова была канва его речи.

Она западала мне в душу; в конце он обратился к нам: «Подойдите ко мне, дети почившей». Что-то он специально нам говорил, к чему-то призывал всех бывших в церкви, но я помню одно, как из его глаз по щекам катились слезы. Мне стало стыдно или страшно производить опыт своей способности творить чудеса у этого гроба. Я этой попытки не сделал, но потом долго себя упрекал за свое доказанное и тотчас наказанное маловерие. Эти похороны были последним впечатлением, которое у меня связано с матерью. Мне было тогда одиннадцать с половиною лет.

* * *

Если мать была тепличным растением культурной помещичьей среды, то отец представлял другую ее разновидность, но вышел он из нее же. Мой брат, когда был на государственной службе, нашел бумаги, по которым можно было восстановить нашу родословную и даже быть переписанным в какую-то другую дворянскую книгу.

У нас не сохранилось отношений с отцовской родней. Из нее мы знали только родного деда Николая Васильевича, живописного старика с длинными белоснежными волосами, какими тогда изображали вернувшихся из ссылки декабристов. Человек очень способный, но легко увлекавшийся, он постоянно менял род занятий и потому не преуспел ни в одном. Начал врачом. Набрасывался в медицине на всякие новшества, даже на те, которые тогда принимали за шарлатанство, как, например, гипнотизм. Но медициной он занимался недолго. Помню его рассказы о его увлечении петушиными боями, для которых он выводил особую породу петухов; о попытках построить «perpetuum mobile»[20], об изобретении им «повозки для тяжестей», которая выдержала будто бы публичные испытания и только по чьим-то интригам не была удостоена премии; кое-что я о нем узнавал не только по его собственным рассказам. После смерти отца в шкатулке, где хранились письма деда к нему, я нашел письмо, где дед отцу сообщал, что изобрел в Монте-Карло «беспроигрышную систему игры», вошел в компанию с некиим графом Грабовским, чтобы «взорвать» вместе банк, и убеждал отца собрать как можно больше денег и ехать к нему: «вернешься богатым». Уже своими глазами я видел другое, более невинное его увлечение. Дед жил тогда с нами в имении матери Ярцеве Дмитровского уезда Московской губернии. Его почему-то захватила идея завести в нем на широких началах молочное

[20] Вечный двигатель (лат.).

хозяйство с сыроварением, которое должно было давать большие доходы. У отца не было ни охоты, ни умения извлекать барыши из хозяйства; но потому ли, что не хотел лишить своего отца удовольствия, или потому, что еще не предвидел, во что это его удовольствие обойдется, но он согласился попробовать. Я ребенком наблюдал этот опыт. Вероятно, так после 1861 года помещики проживали свои выкупные свидетельства. Был построен длинный скотный двор со специальной вентиляцией и с особенным помещением для каждой коровы; приобретен редкий породистый скот. Мы ходили смотреть, как мыли громадных голых свиней, которые отчаянно хрюкали, когда мыло им попадало в глаза. Были заведены машины, локомобиль, молотилка, веялка, которые постоянно ломались. Конечно, хозяйство никаких барышей не давало. За это дед обвинял какого-то Озмидова, который вместе с ним это дело затеял; позднее я слыхал это имя, как известного сельскохозяйственного деятеля. К счастью, в 1878 году тетка матери, М.П. Степанова, уговорила нас переехать в ее имение Дергайково Звенигородского уезда. Оно было замечательно живописно. Мы там поселились и оставались уже до революции. С переездом туда прекратилось хозяйство в Ярцеве. Дед перешел тогда к другим занятиям, пристрастился к литературе, написал драму «Богдан Хмельницкий», которая была поставлена в Малом театре на Императорской сцене. Из деревни он приезжал на ее постановку, ходил на репетиции, и сам помню, как он восхищался игравшей в его пьесе молодой, тогда никому еще не известной артисткой – Ермоловой. Еще позднее, уже на старости лет, он выучился английскому языку и стал переводить Шекспира. Помню его споры о достоинствах перевода с Н.Х. Кетчером, которому было посвящено шутливое стихотворение П.В. Шумахера:

Вот еще светило мира,
Кетчер, друг шипучих вин,
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

Когда деду стало скучно в деревне, он стал все чаще ездить к близким соседям, графам Олсуфьевым, которые безвыездно жили в своем подмосковном имении Обольянове. Олсуфьевы были исключительно культурной, талантливой и литературной семьей; у них часто бывали Толстые, не исключая и самого Льва Николаевича; к этой семье Олсуфьевых принадлежал молодой их сын, известный позднее как политический деятель, Д.А. Олсуфьев, член Государственного совета по выборам от Саратовской губернии. Под конец дед живал там подолгу, там и скончался.

Таков был дед, поскольку я его помню. Была у него вторая жена, с которой он не то развелся, не то разошелся. К нам она заходила не редко. Если в то время случайно бывал у нас дед, она из другой комнаты на него смотрела украдкой. Если, приезжая, он узнавал, что она у нас, он не входил. Кроме отца, у деда было трое детей: сын С.Н. и две дочери. Одна была замужем за железнодорожным чиновником; другая, незамужняя, служила актрисой на выходных ролях в Малом театре. Дядя, Сергей Николаевич, был человек очень способный, великолепный стрелок и сильный шахматист. Никакой школы он не окончил, не имел ни определенных занятий, ни службы и жил в другом имении матери, как будто управляя хозяйством. Из всей этой семьи только отец получил высшее образование и сам создал себе положение.

Он учился в 1-й Московской гимназии. Когда через тридцать лет я стал гимназистом, у меня был тот же надзиратель, глубокий старик Л.И. Ауновский, который в этой же должности служил при отце. Времена с тех пор изменились. Отец часто рассказывал про свои школьные годы. Тогда было грубое время: учеников могли сечь и без церемонии угощали подзатыльниками. Правда, зато зря не губили их жизни. Тогда родители могли за них заступиться, с ними считались. В классической же Толстовской гимназии моего времени было иначе. С учениками была внешняя вежливость: ни к одному мальчику не обращались на «ты». Но было беспощад-

ное равнодушие к их судьбе со стороны государственной власти, которая без причин ученика могла навсегда погубить. После гимназии отец поступил на медицинский факультет. Хотел себя посвятить хирургии. Этому помешала случайность. На охоте на уток, в лодке, он за дуло потянул ружье на себя, зацепил за что-то курком, и заряд угодил ему в левую руку, разорвал сухожилие, и несколько пальцев левой руки перестали сгибаться. Для большой хирургии это было помехой. От этой специальности он должен был отказаться и перешел на офтальмологию, где для миниатюрных операций неисправность левой руки могла не мешать. Было и другое последствие того же неудачного выстрела: отец был очень музыкален и в молодости хорошо играл на скрипке; это стало невозможно без левой руки. Он скрипку заменил «фисгармонией», где беглость пальцев была не нужна. Но офтальмологии он остался верен до смерти и умер профессором по этой кафедре.

Не могу судить о положении, которое отец занимал в медицине и в обществе. В одном сам могу быть свидетелем. Свое положение он получил ни по протекции, ни по наследству готовым: сам его создал, был «self made man».

Для этого надо было много работать. Он и был образчиком труженика. Всю жизнь работал без отдыха. Имел хорошую практику, у матери было состояние. Мог жить не утомляясь, но времени на отдых у него никогда не хватало. Он любил деревенскую жизнь, но, хотя наша семья подолгу оставалась в деревне, он мог приезжать к нам только на два дня в неделю и уезжал утром, чуть свет. В 1895 году перед смертью от эндокардита, который тогда не умели лечить, врачи предписали, если организм пересилит болезнь, безусловный и продолжительный отдых. В антрактах между пароксизмами он мечтал о таком отдыхе в нашей деревне, признавая, что всегда стремился к нему, и вспоминал, что за всю жизнь ни разу его не получил. Болезнь, которая кончилась смертью, оказалась его единственным отдыхом.

Главным делом, которое отнимало у него время, была медицина. Но он занимался ею не только с практической целью – лечить; она была для него одной из возможностей изучать жизнь и законы, которые ею управляют. Влекло его «естествознание» во всех его отраслях; он был активным членом многочисленных ученых обществ, старался следить за всем, что другие в естествознании делали. А когда была возможность заниматься им самому, даже в сферах, от медицины далеких, он это и делал. Как пример припоминаю его увлечение пчелами.

Отец раз побывал на Измайловской пасеке в Москве, заинтересовался жизнью пчел и завел их у себя в деревне. При постановке ульев один из них уронили, пчелы роем набросились на отца и искусали его. Помню его шею, как будто небритую щеку от торчащих в ней пчелиных жал, которые вынимали горстями. У отца так поднялась температура, что опасались за его жизнь. Он выздоровел, но зато получил на всю жизнь иммунитет против пчелиного яда. Он устроил в деревне настоящую пасеку и проводил на ней каждое утро. Поставил и в Москве на квартире стеклянный наблюдательный улей с летком на двор нашей больницы. Открыв дверку ящика, в котором улей был заключен, можно было наблюдать все, что в нем делалось. Следить в деревне за пасекой без помощника, когда отец четыре дня в неделю отсутствовал, было невозможно. Он хотел заинтересовать этим кого-нибудь из нас, детей, но мы пчел боялись.

Случай помог отцу. К нам летом был приглашен репетитором, чтобы меня готовить к гимназии, студент, только что получивший медаль за сочинение по органической химии, И.А. Каблуков. Он заинтересовался пчелами, стал отцу помогать и с тех пор каждое лето проводил у нас на положении близкого и верного друга семьи.

В 1926 году, когда он после Революции приехал в Париж, не побоялся нас навестить. Был убежден, что большевики очень скоро будут вынуждены уступить место старым общественным деятелям. Это была эпоха нэпа. Так думали тогда многие из тех, кто оставался в Советской России.

Каблуков был честным и хорошим человеком, не талантливым, но усердным тружеником, преисполненным уважения к науке и горделивого сознания того, что он – ее деятель. Язык

плохо его слушался. Он не договаривал фраз, не согласовывал подлежащего со сказуемым и пересыпал речь словечками – «этта» (вместо акимовского «таё»). Этот недостаток в связи с напыщенностью, с которой он говорил о высоких предметах, делал его часто комичным.

Мы, дети, издевались над ним и изводили его. И не одни только дети. Однажды наши крестьяне пришли его поздравить с «приездом». Этот обычай они всегда применяли не только к членам нашей семьи, но и к ее близким друзьям. Каблуков вышел, принял поздравление и стал разговаривать с крестьянином Степаном по фамилии Родичев.

Этот Степан был остроумный балагур и горький пьяница. Л.Н. Толстой говорил в Ясной Поляне, что пьянство он ненавидит принципиально, но что мужики-пьяницы бывают иногда очаровательны. Степан был из таких. Каблуков спросил его: «А ты, Степан, говорят, все пьянствуешь?» – «Что ж из этого, Иван Алексеевич, вреда от этого нет. Мне семьдесят лет, а посмотри на меня, каков я есть». Каблуков важно ответил: «Ну а если бы ты не пил, то тебе теперь было бы не семьдесят, а девяносто лет». Было ясно, что он хотел этим сказать, но то, что он сказал, вызвало общий хохот и удовольствие. Анекдоты про Каблукова попали даже в литературу (воспоминания Белого). Позднее он стал профессором химии, при большевиках сделан был академиком, и я в «Известиях» видел фотографию, как Калинин вручал ему какой-то орден. После 1926 года я его больше не видел.

Так наша семья вышла из двух разных классов: помещичьего со стороны матери и интеллигенции со стороны отца. В начале между ними не было «антагонизма»: у них был общий корень. У отца едва ли могла быть та детская «вера», которой была полна моя мать, но я помню, что он в церковь ходил, говел, хотя и всегда отдельно от нас, от детей. Однажды, уже после смерти матери, я как-то рассказал, что товарищ мой по гимназии меня принялся «просвещать» по части религии и поучал, что мир не создан в семь дней, а начался с появления раскаленного шара. Отец с каким-то опасением слушал и поинтересовался, что я на это ответил. Когда я сказал, что спросил, откуда этот шар появился, он пришел в восторг: «Вот и правильно. Ну, и вышел дурак, и не сможет на это ответить». По горячности и торжеству, с которыми это он говорил, было ясно, что отвечал он сомнениям, которые в нем самом были, но которым он не хотел давать хода. Почему? Раз во время Светлой Заутрени он повел нас с братьями на Красную площадь, залитую народом. И когда ударил колокол Ивана Великого, на него отозвались все московские церкви, начался ночной перезвон, а толпа, обнажив головы, стала креститься, отец с каким-то торжеством обратился к нам:

– Что бы ни говорили умники, откуда же это чувство у всех? Значит, за этим есть что-то.

Этого унаследованного им вместе с другими «общего» чувства терять он не хотел.

Это могло быть не только с религией. Раз, уже студентом, я говорил с ним об умершем Каткове, политический вред которого отец тогда уже хорошо понимал. Я знал, что Катков был пациент отца, с ним на этой почве видался. Благодаря более близкому знакомству с ним как с человеком, он мог не разделять распространенного против него огульного предубеждения. Но он старался все-таки оправдывать его и как политика; напоминал, что Катков всегда стоял за интересы России. Позднее, уже после смерти отца, в письмах деда, о которых я говорил, я нашел неожиданный вопрос деда, обращенный к отцу: продолжает ли он «восхищаться» Катковым? Я яснее понял тогда, откуда вышло это старание его защищать. Герцен рассказывал о возмущении, которое в большинстве тогдашнего общества вызвали польское восстание 1863 года и претензии на Западный край. Патриотический подъем общества в ответ на нападение Польши, очевидно, переживал вместе с другими 25-летний отец. Этого чувства он терять не хотел и за это многое Каткову прощал.

Это подводит к вопросу о политических взглядах среды, в которой с детства я рос. Это была среда интеллигенции, а не помещичья. Землевладельцы-помещики, которых было много среди материнской родни, были более старшего поколения; я мало их видел, и перед детьми они политических взглядов своих не высказывали. Я их просто не знал, и какого бы то ни было

влияния на меня они оказать не могли. Кругом, в котором я рос, были знакомые и друзья отца, вообще интеллигенты. Между ними самими, конечно, могли быть различия, и очень глубокие, но для детских глаз незаметные. Главное же в них было то, что они все в свои молодые годы жили в ту переломную для России эпоху, когда было невозможно оставаться нейтральным. Нельзя думать, что в таких случаях бывают только два лагеря. Кто не с нами, тот против нас. Единогласие возможно, когда довольствуются отрицанием: отменить, не допустить. Когда хотят строить новый порядок (и в этом заслуга и величие Великих Реформ), там разномыслия неизбежны: они вытекают из сути вещей. Одним кажется, что реформы идут слишком быстро, недостаточно считаются с прошлым. Другим – наоборот. С кем тогда был отец – я точно не знаю. Сам он этого нам не рассказывал, а семейная хроника «бабушек» этим не занималась. Я от них часто слышал другие рассказы, например, о том, как отец сделал предложение матери. Он в доме ее родителей часто бывал, сначала как доктор, позднее как друг, но о своих личных планах молчал. И когда в разговоре с бабушкой он по какому-то поводу сделал на это очень отдаленный намек, который можно было понять даже вовсе не так, бабушка на него сразу накинулась: «Наконец-то, мой батюшка, давно пора!» Об этом они часто вспоминали со смехом. Можно было над этим только смеяться: брак вышел очень счастливым. Была ли в этих колебаниях отца простая застенчивость или его останавливало неравенство «положений» – мать была единственной дочерью богатых и важных родителей, а он, молодой врач, не имевший своего состояния, – или за этим скрывалось различие культурных и политических симпатий двух семей, я не знал и уже не узнаю.

Поскольку я помню отца и его друзей, их политическое понимание для меня не оставляло сомнения. Все они были за Освобождение 1861 года, за Великие Реформы, многие были сами общественными деятелями, часто гласными Думы. Отец был с теми, кто хотел и эти реформы довести до конца, быть может до «увенчания здания». Думаю так потому, что помню, как он сочувственно говорил о назначении Лорис-Меликова, хотя политического смысла такого сочувствия я по малолетству тогда не мог понимать.

Но это одна сторона; все они вышли все-таки из круга «довольных», а не «обиженных судьбой», не тех, про которых в 1858 году Н.А. Некрасов писал:

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, науки,
Предаваться мечтам и страстям.

К этому чужому миру они относились без признаков высокомерия, не считали его «быдлом», обреченным оставаться внизу; себя не считали «белою костью», у которой есть привилегии по рождению; но они в себе ценили культуру и образованность и в этом видели свое заслуженное преимущество; не хотели это преимущество хранить для себя одних, считали долгом государства передавать его всем остальным, но не признавали и своей вины перед народом, не считали, что необразованные люди призваны Россию за собой вести или что культурным слоям у народа чему-то надо учиться. Долг высших классов был его учить и ему помогать, а не уступать ему места. И если это тогда им старались внушать, то они такое учение не считали не только опасным, но даже серьезным. Позднейших идеологий тогда не предвидели.

Но в самых этих прежде обиженных классах слагалось другое настроение. О нем я позднее узнавал из литературы и даже из наблюдений, но в детстве мне с ним не приходилось встречаться. Настроение порождало дела, которые ни от кого нельзя было скрыть. Началось революционное движение 70-х годов, завершившееся цареубийством 1 марта.

Это время я отчетливо помню. И помню, что среда, в которой я рос, относилась к революционным покушениям вполне отрицательно. Она в это время была «опорой порядка», счи-

тала, что покушения мешают проведению нужных и возможных реформ. Ни цели их, ни психологии людей, которые собой тогда за это жертвовали, она не понимала. Культ революции, вера в то, что всего можно достигнуть насилием, убеждение, что успех революции есть высший моральный закон, нельзя было совместить с теми идеями, которые одушевляли эпоху Великих Реформ.

Это вышло наружу в 1881 году. Либералы оказались правее, чем, может быть, думали сами. «Победа» революционеров 1 марта стала концом их успехов. Широкое общество от них отшатнулось. У настоящей «реакции» оказались развязаны руки, и она нашла исполнителей. К ней переходили даже из «либерального» лагеря. Власть стала бороться тогда не только с революционным движением, в чем был бы долг всякой государственной власти, но с теми идеями, которые лежали в основе 60-х годов.

В это трудное время задачей той либеральной общественности, которая не изменила себе, стало спасать то, что еще можно было спасти и от торжествующей реакции самодержавия, и от малозаметного, но зарождавшегося уже тогда революционного «тоталитаризма». «Либералы» сами собой оказались опять на левых позициях и в печати, и на тех постах общественной деятельности, которые реакцией еще не были уничтожены. Так шла эта «холодная» война, пока не началось Освободительное Движение, которое в 1905 году привело к «увенчанию здания».

Мой отец не дожил до этого времени. Он умер в 1895 году, когда началось царствование несчастного Николая II. Принять участие в борьбе с самодержавием уже не только в качестве зрителя пало на долю моего поколения в его еще молодые, но уже не детские годы. Но к этой борьбе оно уже было подготовлено старшими.

Глава 2

Желание матери как можно дольше детей учить и воспитывать дома, по-видимому, встречало со стороны отца возражения. У него были другие взгляды. Он опасался для нас чересчур дамского, тепличного воспитания, хотел, чтобы мы возможно раньше узнавали настоящую жизнь и ее темные стороны. Он любил нас поддразнивать, друг с другом стравливать, смеялся над внешними проявлениями ласки, называя их «телячьими нежностями». Помню, как мать ему не раз говорила при нас, что он о таком воспитании потом сам пожалеет.

Вероятно, потому, что мать все же не теряла надежды как можно долее продолжать обучение дома, меня там учили тому, что для поступления в гимназию не требовалось. Наша учительница, Надежда Ивановна, учила нас всем предметам: писать без ошибок, арифметике, географии, истории. Для истории у нас был какой-то альбом с историческими картинками, начиная с крещения Руси и кончая чтением Манифеста 1861 года. При этих картинках был объяснительный текст, благодаря им все запоминалось легко. Была у нас и специальная детская библиотека: в ней, между прочим, были два томика о Потемкине и Суворове. Не помню их автора, но вспомнил о них потому, что когда их у нас увидел однажды В.К. Истомин, будущий всесильный правитель канцелярии при великом князе Сергее Александровиче, он сказал, что всюду их разыскивал для своих детей, но нигде не смог достать. Одна из пациенток отца, графиня Толстая, вдова известного друга Гоголя, подарившая свой большой дом на Садовой под приют для престарелых священников, каждую Пасху и Рождество присылала в подарок нам, детям, книги. Помню среди них всего Купера и Вальтера Скотта в детских изданиях. Позднее она предоставляла нам самим выбор книг по вкусу и их нам дарила. Так появился у нас весь Жюль Верн и много других книг.

Нас учили и музыке. Жила у нас постоянно гувернантка, и мы с ней научились свободно болтать по-французски. Позднее появилась и англичанка. Со смертью матери такое домашнее учение кончилось. Учили нас и немецкому, но немецких учителей мы не любили и плохо учились. Не могу не припомнить по этому поводу, как курьез, что однажды, но недолго, нашим немецким учителем побывал и гостивший у нас П.В. Шумахер. В нашем кругу он был исключительным человеком и вообще в современном обществе недостаточно оцененным. Если бы я заговорил подробнее о нем, я никогда бы не кончил. После него осталась все же книжка «стихов» и большое количество анекдотов.

Когда я поступил в гимназию, он подарил мне редкое издание (XVI века) «Илиады» с латинским переводом и с такой надписью:

С детства до старости лет на мишуру все глядели
Слабые очи мои, лучших не видев красот.
Милостив к юноше Зевс, даровав ему высшее зренье
И указав ему путь в область нетленной красы.
Васе Маклакову на память от старого хрена.

Эта книга долго хранилась в нашей деревенской библиотеке; после Революции была национализована и пожертвована в «народную библиотеку», неизвестно на какое употребление.

Вопреки желанию матери я еще при жизни ее был отдан в Московскую классическую 5-ю гимназию. Директором ее был В.П. Басов, сам убежденный латинист, переводчик с немецкого латинской грамматики Мазинга. Был сыном профессора хирургии, который знал лично отца. Я почему-то поступил в гимназию в середине учебного года, поэтому должен был для поступления сдавать особый экзамен. Отец, который присутствовал на этом экзамене в каби-

нете директора, рассказывал матери о пристрастном ко мне отношении учителей на экзамене, объясняя его недовольством за сделанное для меня исключение. Лично я этого не ощутил.

Я был тогда рад, что был отдан в гимназию и не рос до университета в условиях домашнего воспитания. Конечно, оно при хороших учителях может дать гораздо больше, чем общая школа. В то время это и не было трудно. Но у школы есть одно преимущество: школьные сверстники, постоянное общение с ними. Домашнее воспитание замыкает ребенка в определенном кругу; соответственно ему подбирают и учителей. Для ребенка надолго закрыты другие впечатления жизни. Домашний круг его может быть очень высок, состоять из настоящей элиты. Но детям, когда они вырастут, придется жить вне этого круга, с другими людьми. В высшей школе и жизни они все равно с ними встретятся. Воспитание дома или – что почти то же самое – привилегированная школа эту встречу только отсрочат и сделают общение с другими более трудным. Близость со сверстниками естественная поправка к такому порядку вещей, и она тем нужнее, чем более узок и замкнут тот круг, в котором ребенок растет. Это вполне относилось к нашей семье в те старые годы. Я помню такой эпизод.

На семейном празднике у нашей тетки М.П. Степановой один из сыновей ее сестры, Раисы Михайловой, в ожидании выхода хозяйки в столовую стал занимать меня, восьмилетнего мальчика, разговором и сообщил о горе, постигшем Россию, а именно о смерти поэта Н.А. Некрасова. Я знал это имя, читал «Мазая и зайцев»; но Михайлов мне объяснял, что это лучший русский поэт; прочитал «Ивана», как его били в зубы, как он пытался повеситься и потом куда-то пропал. Михайлов продекламировал с чувством:

Как живешь ты на свободе,
Где ты, эй, Иван?

и убежденно закончил: «Некрасов наш лучший поэт». Эти неожиданные для меня слова я передал потом старшим и сверстникам, но в них не встретил сочувствия. Мать объяснила мне, что все это вздор: «Разве ты видал, что кого-нибудь били в зубы? Если Иван пытался повеситься, то только потому, что был пьяница. И Иван никуда не пропал; Иваны служат извозчиками, дворниками, прислугой. И вообще нечего рассуждать о том, чего не понимаешь». Словом, вариант из того же Некрасова: «Вырастешь, Саша, узнаешь…» и т. д.

Я был тогда удовлетворен таким объяснением: оно согласовалось с моим строем понятий, хотя и Михайлов был того же, нашего круга. Для моего тогдашнего возраста такое отношение матери может быть объяснимо, но в нем все же остается опасность – создание для детей искусственной односторонности, «железного занавеса», которое может часто объясняться не возрастом, а вытекать из предвзятого взгляда на то, что нужно «скрывать» и «замалчивать». Школа поневоле пробивала первую брешь в этом занавесе.

Однажды в гимназии наш классный наставник зачем-то стал всех спрашивать, какого мы звания. Большинство не понимали этого термина и отвечали, что их отцы – помещики, чиновники, доктора, учителя и т. д. Нам объяснили, что это не звание. При более точном разборе мы все оказались дворянами. Только один заявил, что отец его повар.

И ему сказали, что это не звание: он оказался по званию цеховым мещанином. И любопытно, что известие, что отец нашего товарища повар, нам всем очень понравилось: этот товарищ вырос в наших глазах, как редкая птица. Невольно сопоставляю такую реакцию сверстников с знаменитым циркуляром Делянова о том, что детям «кухарок» не место в гимназии. Этим допотопным взглядам, которые старались тогда воскрешать, противостояло естественное общее настроение сверстников, которое не зависело от циркуляров и «начальственных» требований. В этом уже было преимущество школы. Конечно, не нужно преувеличивать разницы взглядов, которую можно связать с различием происхождения. Такой разницы в то время я не замечал. Политикой мы тогда вовсе не интересовались. Думаю, что это было более всего

оттого, что в нашем возрасте мы отражали только настроение старших; старшие же переживали период упадка, крушения прежних надежд, когда новых еще не появилось. Та разница оттенков, которые были в нашем кругу, для нас не была заметна, а до ее корней мы и не добирались. В одном классе со мной были сыновья гласного городской думы из того либерального «меньшинства» интеллигентов, которые вели в Думе борьбу с городским головой Алексеевым, отстаивая начала «самоуправления» против его «самовластия». Это была замаскированная борьба «либерализма» с «реакцией». Об эпизодах этой борьбы, которую вели наши отцы, мы, дети, между собой говорили, и даже следили за ней с большим интересом, не отдавая себе отчета в том, ради чего она ведется и в чем ее смысл. Помню, как однажды о каком-то эпизоде ее во время большой перемены я говорил с А.И. Мамонтовым, сыном И.Н. Мамонтова, соперника Алексеева на пост городского головы. Надзиратель, услышав наш разговор, ничего запрещенного в нем не нашел, но все же сказал добродушно: «Чем говорить о пустяках, вы бы лучше повторяли греческие глаголы». Вообще политики в гимназии еще не было и быть не могло: за этим следили. Я помню только одного одноклассника, которого позже я встречал в политических кругах и организациях, Положенцева. Он жил у нашего инспектора Пехачека, был очень замкнут и всегда держался от нас особняком; мы объясняли это тем, что он жил у инспектора; позднее я понял, что для этого у него были другие, более веские основания.

Общение с товарищами меня до известной степени мирило с гимназией, и я был рад, что ее проходил. Этому я рад и теперь. Но сама классическая гимназия, ее худшего времени, эпохи реакции 80-х годов, оставила во мне такую недобрую память, что я боюсь быть к ней даже несправедливым. И эта недобрая память только росла, потому вероятно, что в том уродовании «духа», которое сейчас происходит в Советской России, как и во многих других новшествах «народной демократии», ясно выступают черты того худшего, что было в старой России. Они сейчас опять воскресают, только с невиданным прежде цинизмом.

Я не хочу делать упрека нашим учителям и даже начальству. Среди них были разные типы, были и хорошие люди. Я говорю о «системе», которую в России ввели и которой их всех заставляли служить.

Эта система имела главной задачей изучение древних, то есть мертвых, языков. Знание языков всегда очень полезно, а в молодые годы и дается очень легко. Для этого вовсе не нужно много грамматики. Можно говорить и понимать на чужом языке, грамматики совершенно не зная. Такого знания древних языков классическая гимназия, несмотря на то что в жертву этому приносила другие предметы, нам не давала. Ни по-латыни, ни по-гречески разговаривать мы не могли. А ведь наши отцы и деды это, по крайней мере по-латыни, умели. В европейских университетах лекции иногда читались по-латыни. Профессор Браун, офтальмолог, где-то в Германии слушал по-латыни лекции, говорил и понимал. Я запомнил рассказ его о том, как их учили латинскому. Учитель дал для перевода фразу: terra est rotunda[21]. Пособием был только словарь. Terra[22] маленький Браун легко отыскал и записал. Но «est» при всем желании не находилось. Отыскал в словаре и третье слово, но с иным окончанием – rotundus[23]. Ученикам было велено самим догадаться, почему это так. И только потом учитель им помог в том, чего они сами сообразить не могли. А когда к изменениям слов они уже привыкли на практике, им сообщали и грамматические правила этого. Такой прием оказался для усвоения языка гораздо действеннее. Так, вероятно, было не только с Брауном, но и со всеми. В 1904 году я был в Риме вместе с Плевако. Он собирался идти разговаривать с папой Пием X. Это была комическая встреча, о которой здесь не место рассказывать. Накануне беседы он мне передавал,

[21] Земля кругла (лат.).

[22] Земля (лат.).

[23] Круглый (лат.).

что именно хочет папе сказать, и это говорил по-латыни. А я, премированный латинист, этого сделать не мог бы. Классическая гимназия этому нас не научила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.